



Война Владимир

Я, Сулла
Счастливый

Война Владимир
Я, Сулла Счастливый

«Автор»

2026

Владимир В. В.

Я, Сулла Счастливый / В. В. Владимир — «Автор», 2026

Он родился в римских трущобах, среди крыс и нищеты. Патриций без денег, воин без армии, актер без сцены. Его имя было насмешкой, его род — проклятием. Его звали Луций Корнелий Сулла. Он первым повел римские легионы на Рим. Он стер с лица земли Афины. Он разбил непобедимого Митридата, заковал в цепи Югурту и утопил в крови гражданскую войну. Его боялись, ненавидели, проклинали — и ему поклонялись. Он взял абсолютную власть, перекроил Республику по своему закону, казнил тысячи врагов — и добровольно ушел на покой. Он называл себя Счастливым. И, возможно, был прав. Это его рассказ. Без оправданий. Без пощады. Без свидетелей. «Я, Сулла Счастливый» — исторический роман-мемуары о человеке, который жил по своим правилам, презирал толпу и умер в собственной постели, оставив после себя государство и легенду. Ни один друг не сделал ему столько добра, ни один враг — столько зла, сколько он воздал им сам.

© Владимир В. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Война Владимир Я, Сулла Счастливый

Глава

Введение

Я пишу эти строки не для того, чтобы оправдаться. Боги и без того знают правду, а мнение толпы, которой я правил, но которую никогда не уважал, для меня — пыль на сандалиях легионера. Я пишу, чтобы во тьме грядущих веков, когда Рим, возможно, падет под грузом собственной алчности и глупости, кто-то нашел этот свиток и понял: «Сулла был прав».

Меня называли чудовищем. Меня называли спасителем. Оба этих слова — пустой звук. Я — Луций Корнелий Сулла, и в моем прозвище гораздо больше истины, чем во всех памфлетах моих врагов. Мой род древен, но беден. Моя душа жестока, но справедлива. Моя жизнь — это не цепь случайностей, а лестница, вырубленная в скале римской гордости. Ступень за ступенью, от заплеванных переулков Субуры до золотого трона диктатора.

Я устал. Печень гниет, кожа чешется так, будто Немезида поселила под ней легион муравьев, а во рту — привкус крови и металла. Но ум мой ясен, как небо над Афинами перед штурмом. Сейчас, сидя в тишине моей виллы в Кумах, где ветер пахнет морем, а не дымом погребальных костров, я хочу вспомнить все. Не историю, которую выдумают сенаторы, чтобы выслужаться перед будущим Цезарем. А правду.

Как я, почти нищий, вырос в инсуле, кишашей крысами и шлюхами. Как я впервые ощутил на языке сладкий яд абсолютной власти, глядя в глаза нумидийского царя Югурты, которого я заковал в цепи. Как я сжег Афины и как я спас Рим у Коллинских ворот. Как я любил своих женщин и как я убил тысячи людей, даже не запомнив их лиц.

Меня упрекают в жестокости. Глупцы. Они не понимают, что государство — это больной зверь, которого лечат огнем и сталью. Я вырезал самузскую партию в Риме, чтобы республика жила. Я даровал землю своим ветеранам не из милости, а потому что меч всегда должен быть под рукой у того, кто умеет пахать.

И еще. Меня называют Счастливым — Felix. И я, Луций Корнелий Сулла, верю в это. С юности мне покровительствует сама Венера, дарующая победу. Я рисковал там, где любой бы погиб. Я бросал монету судьбы на кон, и она всегда падала нужной стороной. Даже сейчас, когда мое тело пожирает болезнь, я счастлив, ибо ухожу на вершине, оставляя врагов в пыли, а друзей — в страхе.

В этой книге не будет лживой скромности. Она автобиография полубога, написанная умирающим человеком. Читай же, потомок, и учись. Власть не дается за красивые речи. Власть берут, раздвигая легионные орлы. Власть удерживают, утопив совесть в крови врагов. А чтобы стать счастливым, нужно, чтобы боялись даже твоей тени.

Налей мне вина, мальчик. Разбавь его пополам с водой из Байского источника. Я начинаю свой рассказ.

Я, Сулла Счастливый, диктатор Рима, расскажу тебе, как я прожил эту жизнь.

Глава 1. Инсула

Грязь имеет запах. Это первое, что я узнал в жизни. Не благородный запах свежеспанной земли Кампании, не терпкий дух лошадиного пота в конюшне патриция, а липкая, кислая вонь сотен немытых тел, запертых в каменном мешке. Запах мочи из треснувших амфор, служивших нам ночными горшками. Запах жареных бобов из харчевни на первом этаже, сме-

шанный с дымом коптилок, который въедался в туники и волосы, и его нельзя было вытравить никакими духами, даже если бы у нас были деньги на духи.

Я, Луций Корнелий Сулла, патриций шестого поколения, родился и вырос в инсуле.

Ты удивлен? Ты думаешь, Корнелии всегда жили на Палатине, среди мрамора и фонтанов? Мой род древен, это правда. Руфины, прозванные так за рыжие волосы, восходят к самым истокам Республики. Но от величия предков мне достался только звон имени. И проклятие.

Мой отец умер, когда я едва умел держаться за край стола. Я не помню его лица — только смутный силуэт, склоняющийся над моей постелью, и ощущение шершавой ладони на лбу. Он был слабым человеком, мой отец. Не порочным, не глупым — просто слабым. Он пил неразбавленное вино, читал греческие трагедии и смотрел на мир глазами побежденного еще до того, как вступил в первую битву с жизнью. Его состояние, и без того скромное, растаяло, как утренний туман над Тибром. Остались долги, пустой дом в Субуре (дом, который мы не могли отапливать зимой) и я — мальчишка с громким именем и пустым кошельком.

После его смерти все пошло прахом. Кредиторы, словно стервятники, набросились на жалкие остатки наследства. Дом продали. Рабов распродали поодиночке — я до сих пор помню вой старой кормилицы-гречанки, которую уводил толстый меняла, похотливо ощупывая ее дряблую грудь. Мы переехали.

Знаешь ли ты, что такое римская инсула? Это не дом. Это человеческий улей, многоэтажный, построенный из дешевого дерева и необожженного кирпича, который трещал по швам при каждом порыве ветра. Мой угол был на четвертом этаже, под самой крышей. Летом там стояла невыносимая духота, и я задышался, ловя ртом воздух, который, казалось, можно резать ножом. Зимой сквозь щели в ставнях задувал ледяной ветер, и я просыпался с посиневшими ногтями. Но хуже холода и жары был страх. Инсулы горели. Они вспыхивали как факелы, и пока богачи внизу успевали вынести свои пожитки, мы, жители верхних этажей, прыгали вниз на мостовую или сгорали заживо. Этот запах — запах горящего дерева и жареного человеческого мяса — я запомнил навсегда.

Но в этой клоаке, в этой грязи, у меня было два сокровища. Мачеха и Никопола.

Моя мачеха — да простит меня тень матери, которую я никогда не знал, — была святой женщиной. Она не родила меня, но она выкормила меня. Когда мы голодали, она отдавала мне свою лепешку, уверяя, что сыта. Она штопала мою детскую тогу, пока та не превратилась в лохмотья, и молилась за меня всем богам, хотя вряд ли боги слышат молитвы из инсулы. Она была из хорошей семьи, но пошла за моего отца по любви, и эта любовь привела ее в трущобы. Она никогда не жаловалась. Только когда я в ярости разбил кулак о стену, крича, что мы — нищие, она обняла меня и сказала: «Луций, ты Корнелий. Запомни это. Твоя кровь — это пурпур, даже если твоя туника — дерюга». Эти слова впитались в меня крепче, чем все уроки риторики.

А Никопола... Ах, Никопола. Она была шлюхой. Нет, не так. Она была гетерой, гречанкой из Афин, которая по воле судьбы оказалась в Риме и торговала своим телом, потому что оно было ее единственным капиталом. Но в этом теле жил острый ум и сердце, не зачерстневшее от ремесла. Она была старше меня, красива той особенной, увядающей красотой, что требует пристального взгляда, и она первая заметила меня в толпе уличных мальчишек, швыряющих кости в грязном переулке. Почему она обратила на меня внимание? Не знаю. Может быть, увидела в моих глазах тот голод, который знаком только отверженным. Голод, который не утолить похлебкой.

Она взяла меня в любовники, когда я еще даже не брился. И она же взяла меня в ученики. В ее тесной комнатухе, пропитанной запахом дешевых сирийских благовоний, я впервые вкусил не только плотской любви, но и любви к знаниям. Именно Никопола, перебирая мои рыжие вихры, рассказала мне о Софокле и Еврипиде. Она научила меня говорить по-гречески не как рыночный торговец, а как афинский аристократ. Она смеялась над моей провин-

циальной латынью и заставляла переводить Менандра. И самое главное — она убедила меня в том, что я достоин большего.

«Ты злишься, Луций, — говорила она, проводя покрашенным ногтем по моей груди. — Злость — это топливо для дураков. Преврати ее в честолюбие. Рим принадлежит тем, кто умеет ждать и притворяться. Играй. Надень маску скромника. Учись у актеров. Жизнь — это театр, и тот, кто играет лучше всех, получает в награду не аплодисменты, а власть».

Я слушал ее. Я впитывал ее слова, как сухая земля впитывает воду.

Мачеха дала мне чувство собственного достоинства, веру в то, что кровь предков — это не пустой звук, даже если кошелек пуст. Никопола дала мне образование и цинизм, научила презирать толпу и одновременно управлять ею. Вместе они слепили меня. Из глины и пыли Субуры они сделали человека, который через сорок лет поставит Рим на колени.

Мне было плевать на грязь под ногами. Я смотрел на звезды, даже когда крыша инсулы протекала и капли дождя падали мне на лицо. Я знал: придет день, и эта грязь будет принадлежать мне. Вся. И грязь Субуры, и грязь сенатской курии.

Мне нужно было сделать первый шаг. Вырваться из этого болота. Нужны были деньги — не богатство, а минимум, цена ценза, чтобы войти в сословие всадников и начать политическую карьеру. И судьба, которая уже тогда начала плести мою золотую пряжу, подарила мне их.

Умерла Никопола. Умерла тихо, в своей постели, от какой-то женской болезни. Перед смертью она подозвала меня, уже возмужавшего юношу, и вложила в руку завещание. Она, бесплодная греческая гетера, отписала все свое скромное имущество мне.

Ты скажешь: «Он жил за счет продажной женщины». Да. Жил. И ни капли стыда. Я взял эти деньги, отсчитал монеты медному ростовщику на углу, купил белую тогу кандидата и отправился на Форум, чтобы потребовать у Рима свое место. Ее наследство стало моим первым капиталом. Не просто деньгами — уроком. Уроком того, что в этом мире иногда нужно просто уметь ждать и нравиться.

Я вышел из инсулы навсегда. За моей спиной остался запах мочи и жареных бобов. Впереди был Рим. Мой Рим. И первая ступень — должность квестора.

Я больше никогда не спал под протекающей крышей. Но я никогда не забывал, как она звучит. Этот стук капель по глиняному полу напоминал мне, что такое поражение. И я поклялся, что лучше сожгу весь мир, чем вернусь обратно.

Глава 2. Имя Корнелиев

Никопола оставила мне деньги. Мачеха — веру. Но был и третий дар, который не стоил ни асса, однако весил больше, чем все золото Красса. Имя.

Когда ты спишь на соломенном тюфяке и ешь ячменную кашу, имя Корнелия звучит как насмешка. Соседи по инсуле, такие же нищие, но плебеи, тыкали в меня пальцами: «Эй, патриций, подай монетку!» Я скрежетал зубами, но молчал. Потому что даже в лохмотьях я знал: моя кровь — это не пустой звук. Это ключ. Нужно только понять, к какой двери он подходит.

Род Корнелиев — один из шести старших патрицианских родов, тех, что стояли у истоков Республики. Мы не выскочки вроде Юлиев, примазавшихся к Энею через Венеру задним числом. Мы — костяк Рима. Из нашего рода вышли больше тридцати консулов и диктаторов. Сципионы, Цетегии, Лентулы, Долабеллы — все они Корнелии, ответвления одного могучего ствола. А я принадлежал к ветви Руфинов. Рыжих.

Мой далекий предок, Публий Корнелий Руфин, был консулом и диктатором в те суровые времена, когда Рим воевал с самнитами и Пирром. Он был славен, богат и победоносен. И он же стал источником нашего проклятия.

Историю, которую я сейчас расскажу, мне поведала мачеха, когда я в очередной раз спросил, почему мы бедны, а другие Корнелии — нет. Она рассказывала ее тихим голосом, без гнева, словно читая свиток судьбы.

Публий Корнелий Руфин, диктатор и триумфатор, был изгнан из сената цензорами. Позор, которого не смыть никакой кровью. И знаешь, в чем была его вина? Не в казнокрадстве, не в трусости, не в предательстве. У него дома нашли десять фунтов серебряной посуды.

Сейчас это звучит смешно. Любой вольноотпущенник в Риме хвастает большим. Но тогда, в эпоху манипулов и льняных панцирей, это был скандал. Законы против роскоши были суровы. А Руфин, сам того не желая, стал символом разложения старых нравов. Серебро, захваченное, вероятно, в походах, украшало его стол, когда в Риме еще помнили деревянные миски Курия Дентата.

Его вышвырнули вон. Имя Руфинов было замазано. С того дня наш род словно сжался, ушел в тень. Мой дед, мой отец — они жили тихо, не лезли в политику, боялись привлечь внимание. Бездеятельность стала нашей родовой болезнью. Мы были патрициями без амбиций, аристократами без денег. Призраками былого величия.

Вот что я унаследовал. Не земли, не золото, а проклятие бездеятельности и позор серебряной посуды.

Но я, в отличие от отца, не собирался прятаться. Я смотрел на эту историю иначе. Публий Руфин был наказан за то, что он был. За то, что он побеждал и наслаждался плодами побед. Его погубила не алчность — его погубила зависть. Зависть тех, кто не умел побеждать, но умел считать чужое серебро. Я извлек из этого урок: в Риме мало быть успешным. Нужно быть либо незаметным, либо настолько сильным, чтобы никакие цензоры не посмели заглянуть в твой дом.

И я поклялся, что мое серебро — а оно у меня будет — никто не посмеет пересчитать.

Ветвь Сулл была еще одной загадкой. Само имя «Сулла» — что оно значит? Даже сейчас ученые греки спорят. Одни говорят, что это искаженное «Сура» — так называли человека с рыжими волосами или, прости меня Венера, с некрасивым лицом. Другие выводят его от какого-то древнего слова, означающего «свирепый». Мне нравится второе. В юности я ненавидел свое прозвище. Рыжий. Конопатый. Светлоглазый, с лицом, которое слишком легко краснело и покрывалось пятнами, когда я злился. Надо мной смеялись. Метробий, актер, с которым я свел дружбу позже, говорил, что мое лицо похоже на тутовую ягоду, посыпанную мукой. Злая шутка. Я запомнил ее и запомнил тех, кто смеялся.

Но со временем я понял: моя внешность — это маска. Глядя на мое грубое, покрытое шрамами от юношеских прыщей лицо, никто не мог заподозрить во мне тот острый ум, который отточила Никопола. Враги недооценивали меня, пока я не вонзал им нож в горло.

Кем я был в двадцать лет? Продуктом двух противоположностей. Во мне текла кровь победителей и изгнанников. Я носил имя, которое открывало двери в сенат, но в кошельке у меня звенели медяки. Я был патрицием, но вырос среди плебса. Я говорил на изысканной латыни, но умел ругаться, как портовый грузчик. Я любил греческий театр и римскую резню.

Эта двойственность стала моей силой. Я не был ни «своим» среди чванливых *optimates*, ни «своим» среди грязных *populares*. Я был сам по себе. Я был Суллой.

Оставаться в тени, как отец? Нет. Но и лезть напролом, как Публий Руфин со своим серебром, — тоже глупо. Нужен был другой путь. Путь, который мне подсказала Никопола. Путь притворства.

Я научился улыбаться тем, кого ненавидел. Пожимать руки тем, чью кровь я мечтал пролить. Я выучил наизусть все пьесы Теренция и Плавта и понял: политика — это театр. Нужна только правильная маска. И правильная ступень, чтобы взойти на сцену.

Этой ступенью была квестура. Первая должность в *cursus honorum*. Мне нужны были голоса. Мне нужны были покровители. И я отправился на Форум, чтобы найти их, спрятав свою гордость в складках старой, но тщательно вычищенной тоги.

Глава 3. Искусство притворства

Рим — это театр. Я понял это задолго до того, как впервые надел белую тогу кандидата. И лучшие актеры этого театра играли не на деревянных подмостках во время Флоралий, а на каменных плитах Форума. Они назывались сенаторами.

Никопола, моя гречанка, была права. Она часто водила меня в театр — точнее, я водил ее, расплачиваясь теми медяками, что она сама мне давала утром. Мы сидели на верхних скамьях, среди вольноотпущенников и черни, и смотрели, как раскрашенные масками актеры кривляются, изображая царей, рабов и богов. Толпа хохотала над ужимками парасита, рыдала над судьбой Медеи. А я смотрел и учился.

«Видишь, Луций? — шептала Никопола, сжимая мое запястье. — Каждый из них надевает маску. Один играет хвастуна-воина, другой — скрягу-сводника. Но посмотри на ликторов внизу. Посмотри на претора, который восседает в первом ряду. Он тоже играет. Только его маска приросла к лицу».

Я впитывал ее слова. Я начал присматриваться к людям. И чем больше я смотрел, тем яснее видел: весь Рим — это сцена. Патриций, гордо шествующий в окружении клиентов, играет роль «предка». Он хмурит брови, как бронзовые бюсты в атриуме, но дома, за закрытыми дверями, он, возможно, плачет над счетами или прячет любовника-раба в чулане. Трибун, громящий оптиматов с Ростр, играет роль «друга народа», но сам мечтает купить виллу на Палатине.

Я решил, что тоже стану актером. Но не таким, как они. Они играли одну и ту же роль всю жизнь, срастаясь с ней, как с хитом из грубой шерсти. Я же буду менять маски по своему усмотрению.

Моим первым наставником в этом искусстве стал Метробий. О, Метробий! Имя это, словно глоток фалернского, до сих пор вызывает у меня улыбку, хотя с тех пор прошло столько лет, что высохли виноградники, где его делали.

Я встретил его в таверне у Бычьего рынка. Мне было, наверное, лет восемнадцать. Я только что похоронил Никополу и получил ее наследство — жалкие гроши, но достаточные, чтобы не умереть с голоду. Я сидел в углу, потягивая кислое вино, и наблюдал за компанией актеров, которые праздновали удачное представление. Они были шумны, накрашены и развязны. Смерть гречанки еще саднила в груди, и я, вероятно, смотрел на них волком.

Метробий заметил меня. Он был старше, красив той специфической, женственной красотой, что так ценится на сцене, когда играешь девушек и богинь. У него были томные карие глаза и наглая улыбка человека, который побывал в постелях стольких патрицианок и патрициев, что перестал их считать.

«Эй, рыжий, — крикнул он через весь зал, — у тебя лицо, как у трагика, который забыл слова. Иди к нам. Выпей».

Я хотел послать его к воронам. Но что-то меня остановило. Может быть, одиночество. Может быть, любопытство. Я подсел.

Так началась наша дружба. Дружба, которая удивляла всех. Я — угрюмый патриций из трущоб, он — беспутный гистрион, любимец публики и ночных гуляк. Многие воротили нос, узнав, что я вожу компанию с актерами. Актер в Риме — почти что раб. Его можно бить палками. Он не имеет чести. Но плевать я хотел на их мнение.

Метробий научил меня тому, чего не знали ни консуляры, ни стратеги. Он научил меня владеть лицом.

«Смотри, — говорил он, когда мы, пьяные, возвращались под утро по спящим улицам. — Ты злишься, и твои ноздри раздуваются, как у быка. Ты радуешься, и твои глаза бегают, словно мыши. Так нельзя. Лицо должно подчиняться тебе, а не чувствам».

Он останавливался посреди улицы, освещенной только луной, и начинал показывать. Только что он был пьяным гулякой — и вот уже передо мной стоит скорбная матрона, оплаки-

вающая сына. Мгновение — и он же, Метробий, превращается в надменного сенатора, цедящего слова сквозь зубы.

«Повтори», — приказывал он.

Я повторял. Сначала плохо. Я краснел, сбивался, злился еще больше. Но со временем я научился. Я научился улыбаться так, что собеседнику казалось, будто я его люблю больше брата — хотя в этот момент я прикидывал, как выгоднее его предать. Я научился изображать гнев, не чувствуя его. И, что самое трудное, научился прятать свой настоящий гнев за маской ледяного спокойствия.

Это искусство спасло мне жизнь. И не раз.

Моя внешность помогала. Природа не дала мне статной фигуры Сципиона или орлиного профиля, как у мраморных статуй. У меня было грубое, усыпанное шрамами от юношеских угрей лицо. Слишком светлые, почти белесые глаза, которые на солнце становились прозрачными, как вода, а в гневе темнели до стали. И рыжие волосы, предмет насмешек на Форуме.

«Сулла-Сура, — дразнили меня мальчишки в детстве, — рыжая обезьяна!»

Тогда я лез в драку. Теперь я улыбался. Потому что я понял: моя внешность — идеальная маска. Кто заподозрит коварство в человеке с лицом, испорченным прыщами? Кто увидит угрозу в рыжем провинциале? Я был как тот актер, что играет простака, а сам прячет за пазухой кинжал.

Никопола дала мне знания. Метробий дал мне умение их применять. Я стал мастером перевоплощения.

Помню, как однажды, уже будучи квестором, я стоял перед сенатом и докладывал о состоянии казны. Голос мой был ровен, жесты скупы, лицо выражало почтительную скуку. Старики кивали, позевывая в кулак. А накануне ночью я в этой же тоге, пьяный до беспамятства, плясал с мимами в лупанаре, и Метробий хлопал в ладоши, крича: «Браво, Сулла! Ты переиграл их всех!»

Никто не знал меня настоящего. И в этом было мое преимущество.

Я научился быть разным. Для кредиторов — скромным просителем. Для патронов — преданным клиентом. Для солдат — своим в доску командиром, который ест ту же кашу и спит на голой земле. Для греков — ценителем их культуры, цитирующим Гомера в оригинале. Для римских плебеев — грубоватым воякой, чуждым изнеженных манер.

Где был истинный Луций Корнелий Сулла? Он был спрятан глубоко внутри, за семью печатями. И даже я сам порой забывал, каков он на самом деле.

Это умение притворяться, ждать и менять маски привело меня к первой ступени власти. К квестуре. Но чтобы получить ее, нужно было не только играть роль. Нужно было найти того, кто поставит меня на сцену.

Нужен был покровитель. И я его нашел.

Глава 4. Первые шаги к власти

Деньги Никополы позволили мне купить тогу кандидата. Но одна тога, даже самая белая, не делает человека квестором. Нужны были голоса. Нужны были связи. Нужен был покровитель — патрон, который согласится продвигать нищего патриция с сомнительной репутацией.

Я начал охоту.

Римский Форум в те дни был похож на рынок, где торгуют не рабами и зерном, а амбициями. Каждый день сотни людей в тогах сновали между базиликами, что-то шептали, пожимали руки, клялись в вечной дружбе и немедленно предавали друг друга за углом. Я вступил в эту игру без страха. Мне нечего было терять, кроме имени, а имя у меня уже было с изъясном.

Первый урок я усвоил быстро: бедный патриций — худшая позиция для старта. Плебеи смотрят на тебя как на чужака, патриции — как на неудачника. Чтобы добиться хоть чего-то, нужно было найти человека, которому я был бы полезен. И я нашел.

Его звали Гай Юлий Цезарь Страбон. Нет, не тот Цезарь, который через сорок лет перевернет мир. Его дядя. Оратор, остро слов, человек, который умел смешить народ и внушать доверие оптиматам. Он заметил меня случайно — я выступил в одной из второстепенных тяжб на суде (не как адвокат, а как свидетель, но говорил складно, с греческими оборотами). Он подозвал меня после заседания.

«Ты Корнелий? — спросил он, шурясь, словно оценивая лошадь на торгах. — Сулла? Говорят, ты дружишь с актерами».

Я напрягся. Но ответил спокойно: «Я дружу с теми, у кого можно чему-то научиться».

Он рассмеялся. Ему понравился ответ. Цезарь Страбон сам был актером в душе — он обожал театр, писал комедии и ценил острое слово. Мы разговорились. Я процитировал пару строк из Теренция, ввернул удачную шутку о судье-взяточнике и упомянул, что мой предок Руфин был консулом. Это произвело впечатление.

«Приходи ко мне завтра, — сказал он. — Посмотрим, на что ты годе».

Так я стал одним из его клиентов. Утренние приветствия в атриуме, сопровождение на Форум, мелкие поручения. Унизительно? Нисколько. Я носил маску скромного и преданного юноши, но внутри вел счет. Каждый поклон, каждое «да, патрон» были монетой, которую я клал в копилку будущего величия.

Цезарь Страбон ввел меня в круги оптиматов. Я познакомился с Метеллами — могущественным семейством, которое контролировало чуть ли не половину сената. Старый Квинт Цецилий Метелл Нумидийский, суровый воин и консуляр, окинул меня холодным взглядом. Но его сын, Квинт Метелл Пий (мы позже назовем его просто «Пий» за то, что он вернул отца из изгнания), отнесся ко мне теплее. Он был моего возраста, честный, прямой, без хитрецы. Мы стали если не друзьями, то союзниками. Он видел во мне ум, который можно использовать. Я видел в нем силу, на которую можно опереться.

Но были и враги. Политика без вражды — не политика. Моим первым настоящим соперником стал Марк Эмилий Скавр — не сам Скавр, *princeps senatus*, а его младший родственник, наглый юнец, который тоже метил в квесторы. Он был богат, красив, с холеной бородкой и манерой цедить слова. Он презирал меня за бедность и за то, что я «якшаюсь с гистрионами».

«Рыжий Сулла? — фыркнул он однажды при всех в базилике. — Что он может предложить Риму? Разве что сплясать с мимами на Рострах».

Свита засмеялась. Я улыбнулся. Я запомнил.

Умение ждать, которому меня научила Никопола, здесь пригодилось. Я не бросился на него с кулаками, не вызвал в суд за оскорбление. Я просто кивнул и отошел. Месть — это блюдо, которое подают холодным, как учат греки. И я знал, что когда-нибудь подам его Скавру на золотом блюде.

Почему я не стал судебным оратором? Многие начинали карьеру именно так — громкими процессами, разносами свидетелей, слезными обращениями к судьям. Цицерон, этот выскочка из Арпина, позже сделает себе имя именно языком. Но у меня был другой расчет.

Во-первых, мой голос. Он не был создан для крика. Невысокий, немного хрипловатый, он срывался на высоких нотах. Я не мог, как Гракхи, сотрясать Форум громовыми речами. Но я мог говорить тихо — и чтобы меня слушали, затаив дыхание.

Во-вторых, я ненавидел суды. Там было слишком много лжи, слишком много притворства, а я, хотя и умел притворяться лучше всех, не желал тратить маски на всяких тяжущихся торгашей. Мое притворство предназначалось для большего.

В-третьих — и это главное — я понял, что в Риме власть дают не речи, а армия. Толпа на Форуме может рукоплескать оратору сегодня, а завтра забыть его имя. Но солдаты, которые за тобой шли в огонь и делили с тобой добычу, помнят всю жизнь. Я хотел командовать. Я хотел меч, а не язык.

Поэтому я выбрал военную карьеру. Квестура была лишь ступенью, формальностью. Должность, которая открывала путь в сенат и давала право на военное командование. Мне нужен был квесторский значок.

Цезарь Страбон помог. Метеллы поддержали. Скавр-младший злобно шипел, но помешать не смог. В год, когда консулами были... да какая разница, кто там был консулами, их имена давно стерлись из памяти, — я был избран квестором.

Помню тот день. Я стоял на Марсовом поле, когда глашатай выкрикнул мое имя. Солнце пекло голову. Тога прилипла к спине. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно за три ряда. И когда центурии проголосовали «за», я не закричал от радости. Я не заплакал. Я просто сжал кулаки и выдохнул.

Первый шаг был сделан. Я больше не был просто Луцием Суллой, сыном бездеятельного отца. Я был квестором Римской республики. Членом сената.

Мачеха, узнав новость, расплакалась. Я пришел к ней вечером, уже без пышной тоги, в простой тунике. Мы сидели в той же комнатухе, где прошло мое детство, пили дешевое вино. Она молча гладила меня по голове, как в детстве, и повторяла: «Ты Корнелий. Ты Корнелий». А я смотрел в темный угол и думал: «Что дальше?»

Дальше была Африка. Дальше была война. Дальше был человек, который изменит мою жизнь, и которого я буду ненавидеть до последнего вздоха.

Гай Марий.

Меня назначили квестором в его армию. Я отправлялся в Нумидию — край песков, змей и золота. Я ехал к человеку, который тогда был кумиром толпы, спасителем отечества. «Третий основатель Рима», — так его называли. Я ехал к нему с надеждой и любопытством.

Я не знал тогда, что через несколько лет этот человек станет моим смертельным врагом.

Я не знал, что именно в африканских песках я начну восхождение к вершине.

И я уж точно не знал, что перстень с печаткой, который я закажу в Утике после победы, будет раздражать Мария сильнее, чем целая вражеская армия.

Но это все впереди. А пока я просто собирал вещи. Мачеха суетила, укладывая в мешок сушеные фиги. Метробий, пьяный, целовал меня на прощание и орал, что я стану «величайшим актером среди полководцев». Я оттолкнул его, но улыбнулся.

Квестор Луций Корнелий Сулла отправлялся на войну.

Глава 5. Гай Марий

Я прибыл в лагерь под Утикой в сезон, когда африканское солнце плавит мозги даже сквозь войлочный подшлемник. Пахло солью, верблюжьим навозом и потом тысяч легионеров, изнывающих от безделья. Мне было тридцать лет. Я был квестором — не юнцом, но и не тем, к кому прислушиваются консуляры.

Гая Мария я увидел на следующий день.

Он стоял перед преторием — грузный, коренастый, с бычьей шеей и лицом, изборожденным морщинами, как старая пашня. Никакого изящества. Никакой патрицианской бледности. Кожа — дубленая, красная от ветра и вина. Глаза — маленькие, глубоко посаженные, смотрели исподлобья с тем особым недоверием, которое присуще людям, привыкшим к ударам судьбы. Он не носил греческих сандалий, как модники в сенате. Его калиги были грубы, а тога, брошенная поверх панциря, сидела мешковато, словно он стеснялся этой гражданской одежды.

Таким был человек, которого называли третьим основателем Рима. Спаситель от кимвров. Победитель Югурты — ну, пока еще не победитель, но уже командующий.

Я представился по форме. Назвал свое имя. Марий скользнул по мне взглядом, каким оценивают новую лошадь в обозе, и хмыкнул.

«Корнелий? — переспросил он, и в голосе его прозвучала та особая смесь презрения и зависти, которую „новые люди“ всегда испытывают к старым именам. — Еще один аристократик, которого прислали учиться воевать?»

Я сдержался. Маска скромного служаки приросла к лицу мгновенно. Я ответил что-то уставное, про долг перед Республикой и желание послужить под началом великого полководца. Марий слушал вполуха, ковыряя в зубах щепкой. Его внимание рассеялось через минуту.

«Занимайся снабжением, квестор, — бросил он через плечо, уходя. — Мне нужны зерно и кожа для палаток. А не речи».

Я остался стоять. Мои ноздри, наверное, раздувались, но лицо было спокойно. В тот момент я понял: этот человек не оценит ни моего ума, ни моей породы. Он будет ценить только полезность. Как мул ценит поклажу.

Кто такой Гай Марий? Чтобы понять нашу будущую вражду, нужно понять его природу.

Он был родом из Арпина, из муниципальной знати, из тех, кого в Риме называли «новыми людьми» — *homines novi*. У него не было предков с масками в атриуме. Его отец, говорят, был простым землепашцем. Сам Марий начинал солдатом — с самой низкой ступени. Он пробился не красноречием, не деньгами, а исключительно талантом убивать и выживать. Он знал легион изнутри. Знал, как воняет солдатский пот, как трескаются губы в пустыне, какую ругань орет центурион, когда ломается ось повозки. И солдаты его обожали. Он был им свой.

Но в душе этого человека жил червь. Червь неуверенности. Как бы высоко он ни поднялся, он оставался выскочкой. Он мог разбить кимвров, мог стать консулом семь раз (неслыханно!), но сенатские старцы все равно смотрели на него как на чужака. И он это чувствовал. И ненавидел нас — патрициев, носителей громких имен, даже таких обедневших, как я.

Я, в свою очередь, видел его насквозь. Видел его талант — не мог не признавать. Он умел командовать. Он умел воодушевлять. Но еще он умел завидовать, пить по-черному и подозревать всех вокруг в заговорах. У него был ум крестьянина — хитрый, но недалекий. Он мыслил тактикой, но не стратегией. Он брал города, но не понимал, что делать с ними потом.

Помню один случай, который стал для меня ключом к его натуре. Как-то вечером, после скудного ужина в палатке командующего, где собрались легаты, Марий, уже пьяный, начал хвастаться. Не победами — нет. Он начал перечислять, сколько раз его не избирали, сколько раз *optimaes* ставили ему палки в колеса, как над ним смеялись в сенате, когда он впервые надел тогу с пурпурной каймой.

«Они думали, Марий — грязь под ногтями, — рычал он, стуча кулаком по столу. — А я показал им! Я! Консул! Дважды! И буду трижды! А их сынки пусть подают мне вино!»

Он смотрел при этом на меня. Я сидел молча, потягивая разбавленный уксус, который здесь называли вином. Я не был «сыном». Я был беднее любого из его центурионов. Но мое имя Корнелия стояло у него поперек горла.

Я понял тогда: он не остановится. Его жажда признания ненасытна. Ему мало быть спасителем — ему нужно, чтобы аристократы признали его равным. Или склонили головы. А поскольку склонить головы мы не могли, он будет нас ломать. Всех.

Через несколько недель после моего прибытия Марий вызвал меня к себе. Я ожидал очередного поручения по фуражу. Но он заговорил о другом.

«Ты, говорят, греческий знаешь? — буркнул он, перебирая свитки. — И дипломатию эту... как ее... изучал?»

Я кивнул. Никопола и здесь сослужила мне службу. Марий поморщился, словно от зубной боли. Ему претило, что он, победитель кимвров, вынужден просить аристократишку о помощи. Но нужна была сильнее гордости.

«Мне нужно отправить человека к Бокху, — сказал он. — Это мавретанский царь, союзник Югурты. Если мы перетянем его на нашу сторону, война закончена. Мой пропретор... не справился. Мне нужен тот, кто умеет говорить. И, — он запнулся, — у кого хватит духу на... переговоры в логове зверя».

Бокх. Само это имя звучало как удар меча о щит. Дикий царь диких земель, где песок перемешан со скорпионами, а люди носят на поясах скальпы врагов. Его шатры стояли где-то

за горами, в таких глубинах Нумидии, куда не ступала нога римского солдата. Отправиться к нему означало либо вернуться с победой, либо не вернуться вовсе.

Марий смотрел на меня тяжело. Он ждал, что я испугаюсь. Что я попрошу отсрочки. Что я поведу себя как изнеженный аристократ.

Я выдержал паузу. Ровно настолько, чтобы он начал злиться. Потом спокойно ответил: «Я готов выступить немедленно. Дайте мне турму конницы и переводчика».

Марий опешил. Он ожидал чего угодно, только не мгновенного согласия. Он подозревал подвох. Крестьянский ум всегда ищет подвох в смелости.

«Иди, — выдавил он наконец. — Но знай: провалишься — я от тебя отрекусь. Успех — твой. Провал — твой».

Я вышел из палатки с легким сердцем. Вот он, мой шанс. Не в тылу, не в обозе, не в счетных книгах. Впереди, на острие. Бокх. Югурта. Я еще не знал, как именно это сделаю, но твердо знал одно: в Рим я вернусь победителем или не вернусь вообще.

Марий дал мне задание, но он же дал мне и возможность. Возможность выйти из его тени. И он будет жалеть об этом до конца своих дней.

Глава 6. Квестор, царь и пленник

Мы выступили затемно. Тридцать всадников, переводчик-грек, знавший местные наречия как родной, и центурион Луций Беллиен — ветеран с лицом, исполосованным шрамами, молчаливый, как хорошо смазанный меч. Девять дней пути через выжженные холмы, где колючий кустарник рвал плащи, а по ночам выли шакалы. Дважды нас едва не заметили разъезды Югурты — один раз пришлось зарезать нумидийского пастуха, который слишком пристально на нас посмотрел. Беллиен сделал это без приказа, одним движением кинжала. Я кивнул. Война.

На десятый день добрались до ставки Бокха — огромного лагеря из кожаных шатров в долине, защищенной скалами. Пахло бараньим жиром, пряностями и опиумом. Нас обыскали, но оружие оставили. Добрый знак.

Царь Бокх Мавретанский ждал в главном шатре, восседаая на груди расшитых золотом подушек. Грузный, немолодой, с крашеной хной бородой и умными, усталыми глазами человека, привыкшего лавировать между хищниками. Я поклонился ровно настолько, насколько римский магистрат должен кланяться союзному царю. Бокх заметил это. Усмехнулся.

«Римлянин, — сказал он через переводчика, — ты пришел просить или угрожать?»

«Предложить дружбу Рима. И предупредить».

«О чем же?»

«Югурта проиграет. Не сегодня, так завтра. Когда он падет, те, кто стоял рядом, падут вместе с ним. Те, кто вовремя отойдет в сторону, сохранят свои царства».

Он отпустил советников. Мы остались вдвоем. Началась игра.

Три дня в душном шатре, пропитанном благовониями и страхом. Бокх торговался, как базарный купец. Хотел западную Нумидию. Я не имел полномочий обещать земли, но и не отказывал прямо — лил елей о «щедрости сената» и «благодарности римского народа». Ни одного твердого слова, ни одной зацепки. Никопола гордилась бы мной.

Каждую ночь я ложился, не зная, проснусь ли свободным. Югурта тоже слал послов, предлагал золото, напоминал о родстве. Беллиен советовал бежать. Я отказался. Бежать значило проиграть.

На четвертую ночь Бокх сдался. Мы встретились тайно. Он был бледен — видимо, получил дурные вести с фронта.

«Я выдам вам Югурту. Поклянись своими богами, что Рим сдержит слово».

Я поклялся. Юпитером Капитолийским, Марсом-Мстителем, гением римского народа. Вложил в клятву весь пафос, хотя внутри оставался холоден. Рим будет соблюдать договор ровно до тех пор, пока это выгодно. Но Бокху знать не обязательно.

План был прост. Бокх пригласит Югурту на переговоры о совместных действиях — якобы против римлян. Тот придет с небольшим отрядом. А в ущелье его буду ждать я.

Место называлось Тугга. Узкая расщелина между двумя скалами, поросшими колючим кустарником. Мои всадники залегли за гребнем. Люди Бокха — около двухсот копий — выстроились у входа, изображая почетный эскорт. Сам Бокх нервничал, кусал губы. Боялся, что Югурта заподозрит неладное. Боялся, что я его предам.

«Если ты обманешь меня, римлянин...» — начал он.

«Я уже поклялся», — оборвал я. Голос звучал тверже, чем я себя чувствовал. Ладони вспотели. Маска. Всегда маска.

Вдали показалось облако пыли. Оно росло, приближалось. Вот уже можно различить всадников — около полусотни. Впереди, на вороном коне, в развевающемся алом плаще, скакал Югурта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.